

Вадим Перельмутер

## Поэт Причерноморья

«...А что он любил на свете?  
Нинку, стихи и Керчь».

Шенгели

...Он мог бы и не стать одним из двух – наряду, естественно, с Волошиным – поэтов Причерноморья, этого *имперского Средиземноморья*, подаренных Крымом русской поэзии двадцатого столетья. Однако драматургия судьбы воспротивилась такому наметившемуся было повороту сюжета его жизни...

Георгий Шенгели родился в 1894 году в Темрюке, старинном городке к северо-востоку от Тамани, недалеко от азовского побережья. Ему было четыре года, когда его родители Аркадий Александрович и Анна Андреевна с четырьмя детьми переехали в Омск, к месту новой службы главы семьи.

То предотъездное возбуждение – из самых ранних детских впечатлений, сохранившихся в памяти, чтобы пятьдесят семь лет спустя превратиться в одно из последних его стихотворений, в сонет:

Четыре года мне. Я наряжён в черкеску  
И в шелковый бешмет. А ну-ка, посмотри,  
Какие на груди сверкают газыри,  
Как на кинжале чернь рисует арабеску!..

Он мог вырасти в Восточной Сибири, и летние каникулярные поездки в Керчь к бабушке, Марии Андреевне Дыбской, остались бы лишь детскими воспоминаниями, наподобие того, что

описано в сонете. Но таким – единственным – воспоминанием стала именно Сибирь. В стихотворении, тоже написанном в последние месяцы жизни, чуть раньше уже цитированного:

Я в лодчонке плыву по холодной хрустальной реке.  
Это, верно, Иртыш. А направо ступенчатый город  
Низбегает к воде. И баркасы лежат на песке,  
И на барке подплывшей скрипуче работает ворот...

Два года спустя умерла мать. Еще через два – отец. И четырех внуков, восьмилетнего Георгия с двумя братьями и сестрой, забрала к себе бабушка. Он потом писал – в «Автобиографии», – что впятером они жили «...на бабушкину пенсию и небольшое отцовское наследство, разверстанное «до окончания гимназии». Бюджет был жестким, но жили, не нуждаясь».

Именно бабушка, родившаяся и всю жизнь прожившая в Керчи, неплохо знавшая не только родословную свою, но и семейные преданья, и с удовольствием посвятившая в них будущего поэта, дала ему возможность почувствовать себя истинным *керчанином*, влюбленным в *свой* город (не потому ли, думаю, не из нежности ли этой он потом – в стихах – *перевел* древнее имя сей столицы некогда славного Босфорского царства Пантикапей в протяженно-женственное – Пан-ти-ка-пе-я).

А из предков – еще тогда, в детстве, – его более других заинтересовал прадед – Николай Григорьевич Вускович-Кулев, долмат родом из Рагузы. «Его «выписал» в Россию его родственник Кулисич, которого упоминает в своих мемуарах Вигель... – писал Шенгели в «Биографической канве». – Вускович, родившийся в конце восемнадцатого века (впоследствии Шенгели уточнил дату – 1804. – В. П.), дожил до 1888 года»...

Про то, почему именно этот персонаж выделен поэтом из всех, в жизни коих *романтических мотивов* тоже хватало, – чуть позже. А пока – еще одна цитата, из «Автобиографии»: «Из моих предков первой реальностью для меня является прадед, Николай Вускович. О нем мне рассказывала бабушка, сохранились его портреты. На масляном портрете неизвестного художника (хранится в семье дяди Владимира), датированном 1828 годом, изображен

красивый блондин в сюртуке, с высоким галстуком. Большие холодные голубые глаза, сжатые губы, четкий подбородок выдают ум и характер. На фотографии восьмидесятых годов (есть у меня) сидит тайный советник с обрюзглым недобрым чиновничьим лицом, в орденах, с пряжкой. Служил прадед всю жизнь в Крыму, был (вероятно, не сначала) директором Керченского карантина. Бабушка характеризовала его как человека недоброго, властного, всегда всем недовольного... Второй его брак был неудачен: жена изменила ему с католическим пастором (так в рукописи! – В. П.) Аразовым (я его еще застал, глубоким стариком). Прадед добился развода и потом – перешел из католичества в православие, чтобы насолить обидчику. Тому действительно влетело от начальства, не одобрявшего, что от римской церкви отпал «генерал», глава католической колонии в Керчи. После этой истории прадед «предался распутству», в его доме все время «торчали разные шлюхи». Чтобы молодая дочь не мешала, он выдал ее насильно за сорокадвухлетнего полунищего чиновника Дыбского. Бабушка со слезами рассказывала, как ее вели в церковь»...

Прадед этот происходил – для мальчишки – из времен таинственно-исторических, от него осталось множество *раритетов*, в том числе – пожелтевших бумаг рукописных. Именно среди них он якобы обнаружил еще в юности пачку, пояснял он в середине сороковых, послужившую *основой* для только что завершенной им «Византийской повести. Повар базилевса» – из истории тесных связей Босфорского царства с Восточной Римской империей. «Якобы» – потому что листки те впоследствии, естественно, «затерялись», никто, кроме Шенгели, их не видывал. А упоминание «протографа» понадобилось ему для сопроводительного – к «Византийской повести» – текста, сочиненного, полагаю, в оптимистической надежде предложить сие сочинение в печать как сугубо *историческое*. Замысел тот напоминает... классику, откуда, вероятно, и возник: пушкинское предварение к повестям «покойного Ивана Петровича Белкина». Есть и более внятный, я бы даже сказал, *безусловный* «пушкинский след» в этом сочинении: написано оно тем же стихом, что и «Песни западных славян», редкостным в русской поэзии и потому любим, кто внимательно читал Пушкина, опознаваемым...

По счастью, Шенгели быстро остыл к затее, понял, что подобная попытка стала бы для него смертельно опасной.

Но *участие* прадеда в этой истории, по-моему, любопытно...

О предках со стороны отца – судя по «Канве» – Шенгели удалось узнать значительно меньше: «По мужской линии... дед мой, Александр Шенгели, был грузином, священником; в сороковых годах он был за что-то расстрижен и выслан в Западный край. В Сосновицах он имел связь с замужней еврейкой по фамилии Иоффе (?), которая (как мне говорила бабушка Мария Николаевна) в свою очередь была побочной дочерью какого-то поляка. От этой связи произошел мой отец, Аркадий Александрович, уже в юношеском возрасте «узаконенный» своим отцом... Таким образом во мне смешалось семь кровей: русская, турецкая, долматинская, украинская (Дыбского), грузинская, еврейская, польская»...

В этот итог, выведенный из семейных преданий, надобно внести две поправки, сути, в общем, не меняющих. Суда по разысканиям нашего современника, потомка-родственника Шенгели по материнской линии журналиста Антона Маринина, прапрадед поэта, екатерининский генерал Сильвестр Романович Чернявский «имел дочь» не от «пленницы-турчанки», как рассказывала Шенгели бабушка. Вышедшая замуж за Вучковича-Кулева Любовь Чернявская была одной из четырех дочерей генерала и его жены, Феодосии Михайловны Казанли (судя по фамилии, вероятно, гречанки). А дед по линии отцовской был, опять же, судя по фамилии, абхазом, принявшим православие и ставшим священником в православной Грузии.

При всем при этом, по свидетельству Шенгели, семья всегда считала себя русской. Хотя в жилах младшего поколения клокотал поистине *крымский коктейль*, земли, где кроме аборигенов Северного Причерноморья – еще с византийских времен – так естественно оседали, без вражды соседствовали, смешивались в потомках выходцы с Кавказа и Балкан, из Палестины и Генуи, Западной Европы и Восточной Азии, древнейшие народы и – по историческим меркам – едва народившиеся.

Потому Крым прививал уроженцам и пришельцам, всем *обывателям* своим органическую способность признавать за другим право на иной образ мыслей, символ веры, уклад жизни...

Шенгели учился в Керченской гимназии. Благодаря разносторонне блестящим способностям легко и быстро стал первым учеником. С пятнадцати лет, желая помочь семье, в которой был младшим, но более – утвердиться в самостоятельности, начал подрабатывать репетиторством и сотрудничать в мелких керченских газетах – «писал хронику, фельетоны, театральные рецензии и почему-то статейки об авиации». При этом он вовсе не был не по годам серьезным, сосредоточенным книжником.

В юности время неторопливо и просторно – и может разом вмещать в себя множество разнообразных вещей. Шенгели все давалось с врожденной артистической легкостью, которая – в сочетании с редкою для незрелого возраста работоспособностью, «якорной», при необходимости, усидчивостью – результаты давала отличные.

Он все успевал: запойно читать романы, философские трактаты, стихи – и часами бродить по керченским окрестностям, прислушиваясь, не кликнет ли «див» за далекими курганами, где простерлась Скифия.

...Лежу. Вдруг издали таинственный возник,  
Меня высоту, необъяснимый клик,  
Раскат серебряный – сирена ль заводская,  
Безумный ли фагот, – до сердца проникая...  
Див кличет!...

А то отправлялся в море, вплавь или на ялике. Увлеченно ухаживал за сверстницами-гимназистками. Не пропускал театральные новинки. Возбужденно следил за газетными всплесками политических событий. Ночами вглядывался в по-южному близкое, с рельефными звездами небо, поверяя свои основательные астрономические познания...

Замечательно благодатным для него оказалось это сочетание высокой книжной культуры, вкус к которой развился рано и определенно, а свободное владение иностранными языками позволяло естественно переходить от Жуковского и Пушкина к Верлену

и Бодлеру, Верхарну и Готье, Ницше и Байрону, и снова – к Бальмонту, Блоку, Гумилеву, Брюсову, так что возникало ощущение единого пространства, неделимости литературы на русскую и *остальную*, сочетание, повторю, книжной культуры с приморской вольностью и древностью керченской, пантикапейской земли, где история – никакая не наука, но повседневность: бормочущие камни развалин, господствующая над городом гора Митридата, скорбные глаза Деметры в античном склепе, набегающие на берег волны Босфора Киммерийского, помнящие галерный плеск весел и снежные паруса каравий...

Тут Золотой Курган. Тут был босфорский форт,  
Оплот античности против скифских орд;  
Отсюда, с этих глыб, вытягивая шею,  
Громили плащники гоплитов Гераклеи;  
Тут буйствовал Помпей, и понапрасну яд  
Глотал затравленный, как кошка, Митридат...

Или так:

...Забытый порт Святого Иоанна...  
В долине – церковь, где молчит осанна;  
Безмолвный храм Тезея на холме.

И выше всех, в багряной мгле заката,  
Над пропастью, на каменном яре,  
Гранитный трон – могила Митридата.

Крым, в земле которого отслоились и слежались три с лишним тысячелетия евразийской истории, научил юного Шенгели несуетности, той внутренне насыщенной *праздности*, из которой возникает «певучая лень» поэзии. Привил любовь к живописно-яркому мазку-эпиту, отчетливость рисунка, пластики, ритма, пристальность к незначительной, на первый взгляд, но – в стихе – точной и выразительной *подробности*. Крым стал одной из многих *пожизненных тем* поэта Шенгели. Даже когда он пишет совсем о другом, ну например:

...Как сладко будет овладеть такою  
*Подклёванной*, порочною вдовой, –

эпитет выдает *происхождение* автора: южанину не надо *помнить*, в нем с детства почти бессознательное знание, что *подклеваны* птицами самые *сладкие*, переспелые ягоды...

Сразу по окончании гимназии он издал первую книжку – «Розы с кладбища», однако не оставил нам возможности судить о своем поэтическом дебюте. Пока книжка печаталась, автор успел в ней разочароваться. И едва разошлось несколько экземпляров крошечного тиража, изъял из продажи остальное и... «выкурил» книжку из литературы. Буквально: вспоминал потом, что пустил листки той книжки на мундштуки для самодельных папирос, не сохранив экземпляра даже у себя, «на память». Коллекционерам-библиофилам остается лишь беспомощно вздыхать по тем канувшим неведомо куда *раритетам*...

Тогда же познакомился он с приехавшими в Крым – проводить «Олимпиады российского футуризма» – Давидом Бурлюком, Игорем Северянином, Владимиром Маяковским и Вадимом Баяном. А вскоре состоялось и первое публичное выступление Шенгели. На которое он явился... в гимназической курточке. Демонстративно. Потому что, как вспоминал его почти сверстник одессит Валентин Катаев, «учащимся средних учебных заведений строго запрещались публичные выступления, за это беспощадно выгоняли с волчьим билетом».

Не со стихами своими выступил – с лекцией о «новой русской поэзии».

В небогатой литературными событиями Керчи та лекция, разумеется, была обречена на газетные отклики. Мягко говоря, не самые лестные. Например, такой: «Любители всего оригинального, вплоть до красивой бессмыслицы, послушали бы юного Шенгели, вдохновленного Бурлюком... Не обладая минимальными данными стихотворца, г. Шенгели имеет «смелость» называть себя поэтом... Г. Шенгели, только вчера оставивший школу, где учили как-нибудь и чему-нибудь, не имевший времени познать и обмозговать жизнь, принимается за сизифов труд перевоспитать

керченскую интеллигенцию... Несчастлива та страна, где к природному, естественному невежеству прибавляется то, что культивируется и пропагандируется лекторами à la Шенгели».

Но были и другие мнения, куда снисходительней, по коим лекция Шенгели выглядела, может быть, не очень зрелой, но вполне стройной и внятной.

Таким было начало. Продолжение последовало стремительное, зреющее не по годам – по месяцам...

Из четырех футуристов, с коими Шенгели познакомился, метили-приветили его двое. Северянин, дружба с которым длилась четверть века, до самой смерти старшего. И Бурлюк, охотно приютивший его у себя во время первых визитов Шенгели в Москву. С Маяковским они друг другу не понравились, взаимная антипатия с годами только углубилась и постепенно, дюжину лет спустя, переросла в публичную. Но про то – позже...

Северянин позвал его с собою в турне – преимущественно по южным городам России. Предложил ему роль, какую и сам сыграл совсем недавно, в тринадцатом.

Сологуб, которому понравились его стихи, взял его с собою в турне, где младший – почти на четверть века – говорил о поэзии и читал свои стихи, получил от критиков сполна. И старший был им доволен: Северянин научился «держат удары» критики, почувствовал – и понял – как завоевывать публику. Имя его отныне утвердилось – и осталось – *на слуху* не только в новой и старой столицах...

Теперь он ждал того же от Шенгели. И дождался.

Турне получилось броским, не без скандальной разноречивости откликов, то бишь ровно таким, какое требовалось участникам. Шенгели открывал выступления докладами (вот лишь некоторые из них: «Самураи духа», «Женщина в поэзии Северянина», «Новое пушкинство (Поэзия ближайших дней)»), после – или «вперемешку» с Северяниным – читал свои стихи, продавал выходившие одна за другой книжки – «Лебеди закатные», «Зеркала потускневшие», наконец, первое издание «Гонга», удостоившееся, кстати сказать, благожелательных отзывов печатных от столь строгих критиков, как Юлий Айхенвальд и «сам» Валерий Брюсов.



Наиболее любопытный – по разбросу мнений – резонанс вызвало выступление поэтов, как и следовало ожидать, в Одессе. Судить о том легко хотя бы по пунктирному очерку разброса впечатлений.

«Несколько неприятное впечатление оставляет вступительное слово г. Шенгели «О творчестве Игоря Северянина». И не потому, чтобы докладчик читал плохо или тезисы его были неправильны. Наоборот, очень много дельного, кое-что новое и немало верного было в красиво написанной речи г. Шенгели. Совершенно правильно сделана характеристика «поэта вселенчества», верно подмечено отношение критики – указаны этапы новой поэзии. Но неприятен чересчур уж самохвальный тон, эта апология Игоря Северянина, читанная перед выступлением»...

Или так: «На поэзо-вечере выступал еще поэт Георгий Шенгели, стихотворения которого («урбанистические» и другие) ни по форме, ни по содержанию особого впечатления не производят. В напевной форме декламации чувствуется подражание И. Северянину, но и на этот раз копия во много раз слабее оригинала. Любопытно, что и свое вступительное слово о творчестве И. Северянина г. Шенгели декламировал, словно поэзу, но делал это однообразно и манерно»...

Или совсем кратко: «Исполнители имели огромный успех и по просьбе публики бисировали без конца»...

По ходу турне Шенгели менялся, как бы прислушиваясь не только – и не столько – к публике, но и к себе, к своей реакции на собственные мысли и стилистику звучащего слова. Через полгода после Одессы, в Тифлисе, среди слушателей его случился и Айхенвальд. И откликнулся: «Лучшее, что было на третьем и последнем поэзо-вечере Игоря Северянина (30.01.1917), это стильный, яркий доклад г. Шенгели о Верхарне, так трагически, по железной воле рока, недавно погибшего. <...> Глубокие мысли, яркие, фантастические слова, в кои облек молодой поэт свой доклад, блестящие каскады блестяще построенных фраз, глубокое преклонение перед воспеваемым гением, редкая проникновенность в идеи делают честь докладчику, сумевшему на протяжении трех вечеров в течение 2-3 часов блеснуть большим запасом знаний, глубиной чувств и искренностью тона»...

Четверть века спустя Шенгели иронически вспоминал – себя, в маршруте тогдашнего *поэтического путешествия* с Северяниным посетившего и Петроград:

Гудел декабрь шестнадцатого года;  
Убит был Гришка; с хрустом надломилась  
Империя.  
А в Тенишевском зале  
Сидел, в колете бархатном, юнец,  
Уже отведавший рукоплесканий,  
Уже налюбовавшийся собою  
В статьях газетных, в зарисовках, в шаржах,  
И в перламутровый лорнет глядел  
На низкую эстраду...

Его не обольстил успех, не оглушила обретенная известность. Как будто и не было ничего этого, он преспокойно воротился в Харьков, где сразу после гимназии поступил на юридический факультет университета (в котором профессором химии был его дядя Владимир – и кузина Юлия вскоре стала женой Георгия). Правда, просиживал днями преимущественно не на студенческой скамье, но в небедной городской библиотеке, прочитывая вороха разнообразных книг, а в паузах готовя неторопливо к изданию шестую (! – к двадцати четырем годам от роду) книжку стихов – «Раковину». Главное, с чем воротился он из турне, – понимание, знание, что юридическая карьера – не по нему, что его дело – и жизнь – литература, поэзия.

«Гонгом» он возвестил об этом. «Раковина» стала истинным началом – вслушиванием в то, что звучало в нем, в то, что его ожидало. Не случайно ведь без малого сорок лет спустя, незадолго до смерти, готовя так и не вышедшее «Избранное», он не включил туда ни-че-го из «Гонга» – и совсем немало из «Раковины», вышедшей в восемнадцатом...

А в мае семнадцатого, ненадолго наведавшись в Керчь, он однажды отправился оттуда в Феодосию – и пришел в Коктебель, к Волошину.

Пятнадцать лет я близко знал его... –

подсчитал в августе тридцать второго, вклеив газетную траурную вырезку в записную книжку.

Волошин сразу *принял* – и оценил нового знакомца. «Это самый серьезный из молодых крымских поэтов (керчанин) и очень видный теоретик стиха», – сказано в одном из тогдашних его писем. «Очень видному теоретику стиха» нет еще и двадцати пяти...

Сблизила их, естественно, и *крымская тема* в поэзии обоих. Хотя Крым у них – разный.

У Шенгели – земля, где он вырос, которую чувствует исторически-биографически с детства, от которой происходит «южный» европеизм его мировоззрения и мироотношения. Еще в гимназические годы возникает в нем и шаг за шагом осознается это *европейское*, ежели угодно, самоощущение, потому как Крым с древности был, конечно, ближе к Европе, нежели Россия.

Волошин впервые попал в Коктебель шестнадцатилетним. А в двадцать четыре, то бишь, напомним, в том именно возрасте, в каком явился к нему Шенгели, начались полтора десятка лет волошинских «блужданий по Средиземному миру», куда навевывался он из своего любимого Парижа, именно там – и так – он *вырастал в поэта*. И временами возвращаясь в свой коктебельский дом, постепенно превратил его в то, что Шенгели потом назвал «Киммерийскими Афинами». Его Крым – это отзвуки и археологические слои средиземноморской Европы.

Сарматский меч и скифская стрела,  
Ольвийский герб, слезница из стекла,  
Татарский глёт зеленовато-бусый  
Сосредствуют с венецианской бусой...

.....  
Каких последов в этой почве нет  
Для археолога и нумизмата –  
От римских блях и эллинских монет  
До пуговицы русского солдата!..

И не только в поэзии. То же самое увидит Шенгели и в волошинских акварелях:

Загадочное было в этой страсти  
Из года в год писать одно и то же,  
Всё те же коктельские пейзажи,  
Но в гераклитовом движеньи их...

Представляю себе выставку коктельских пейзажей Волошина – и целую книжку *крымской лирики* Шенгели. Они, по-моему, замечательно дополнили бы друг друга...

Впрочем, более подробное впечатление от взаимоотношений Шенгели и Волошина, от волошинского *влияния*, которое, в частности, помогло Шенгели преодолеть естественную – по возрасту – *зависимость* от поэтики Северянина, весьма заметную в первых книгах, до «Раковины», можно получить при чтении их переписки, *шенгелевская* часть которой есть в этой книге, а *волошинская* – в собрании сочинений Волошина, пересказывать-повторяться не вижу смысла.

Добавлю только, что постоянным – в переписке – общением с Волошином пронизаны, быть может, самые рискованные, но и едва ли не самые интенсивные, самые литературно-деятельные – причерноморские – годы середины его жизни: восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Это видно, можно прочитать – в письмах, набросках, стихах, переводах. В девятнадцатом он перебирается из Харькова в Севастополь, где становится – у красных – комиссаром по делам искусств. Когда город перешел к белым, Шенгели не успел выбраться оттуда со «своими». Пришлось уйти в подполье – с подложными документами. А потом бежать, пробираться в родную Керчь. Но и там вскоре становится опасно. И по занятому белыми Крыму – в Феодосию, на пароход – в Одессу. Обо всем об этом он потом вспомнит и напишет. И его друзья – много позже, когда его уже не будет, – тоже напишут...

В Одессе он дождался прихода Красной армии. И вскоре возглавил Губернское издательство. Восемь одесских месяцев двадцатого года были временем знакомства со *старшими* – Иваном Буниным и Власом Дорошевичем, Семеном Юшкевичем, Алексеем

Толстым и Андреем Соболев – и постоянного общения с молодыми одесскими поэтами и прозаиками, которые несколько лет спустя станут известны всей читающей России – Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Валентин Катаев, Константин Паустовский, Исаак Бабель, Илья Ильф, Евгений Петров, Леонид Гроссман. Правда, он совсем немногим старше (а то и чуть младше – Паустовского, например), ему двадцать пять, однако для них – «мэтр»: полдюжины стихотворных книжек, ворох публикаций – стихи, поэмы, переводы, статьи. А некоторые из них запомнили его еще по «северянской гастрولي».

Среди архивных бумаг Паустовского сохранился сочиненный им совместно с Бабелем шуточный «манифест», регламентирующий встречи молодых поэтов и прозаиков «Под яблоней» (так именовалось их сообщество). Отдельным пунктом там значится: «Не говорить о Шенгели». Стало быть, говорили – часто, постоянно...

И, вспоминал Паустовский, все они знали наизусть, то и дело твердили шенгелевых «Поэтов»: «Друзья! Мы – римляне. И скорби нет предела...» – не то чтобы *скорбели*, скорее – откликались на эмоционально точно уловленное поэтом ощущение распада империи...

В августе двадцатого он вернулся из Одессы в Харьков. Раза два – недолгими наездами – посетил Москву. В один из таких визитов, летом двадцать первого, познакомился с поэтессой Ниной Манухиной, незадолго перед тем выпустившей первую и – как впоследствии сложилось – единственную прижизненную книжку «Не то...», над которой уже успели потешиться критики, неизменно ассоциируя-связуя свои *пассажи* с заглавием оной.

Она была старше Шенгели на два года и, как говорится, *проч-но замужем* – за преуспевающим, насколько сие возможно было в начале двадцатых, врачом Сергеем Манухиным, у нее семилетняя дочь Ирина, немало драматического – и трагического – к тридцати годам пережила. Первую любовь – французского красавца-графа, с которым встретилась – девятнадцатилетняя – в Давосе, он был летчиком и погиб в первые дни войны, летом четырнадцатого, о чем Нина узнала из письма его матери.

А в восемнадцатом они с матерью пытались разыскать могилу отца – офицера, расстрелянного большевиками, и кладбищенский сторож ледяным декабрьским вечером показал им заснеженную площадку, где среди десятков сослуживцев он был безымянно закопан...

В марте двадцать второго Шенгели окончательно перебрался в столицу. И вскоре почувствовал, понял – Нина, Нинка властно заняла первое место в том, «что он любил на свете». Однако на то, чтобы, наконец, соединиться, у них, у обоих, ушло два мучительных года...

Впрочем, и стихи не слишком потеряли во власти над ним. Осенью он издал книжку «Раковина». Не «второе издание, дополненное» etc., как обычно принято указывать в подобных случаях, а другую, новую книжку, как бы *выросшую* из той, двухлетней давности – для иного, *нового* читателя. Лет двадцать пять назад Ирина Сергеевна Манухина подарила мне «авторские» экземпляры обеих тех книжек. И ранний испещрен карандашными пометами, следами работы, превращения одной книжки в другую. Несколько стихотворений резко наискось перечеркнуты, на полях – заглавия стихов, которые займут здесь место, снято большинство прежних посвящений etc. По-моему, редчайший, если не уникальный случай, когда можно проследить работу поэта над книгой, которая разрастается, становится иной, работу, которая – по сути – оставляет нетронутым лишь прежнее заглавие.

Так разрастается при вслушивании в поднесенную к уху раковину гул-отзвук затаенной в ней частицы моря.

Это заглавие осталось нужным поэту – как знак того, с чем он пришел.

Его Причерноморья...

Он сразу и деятельно включается в столичную литературную жизнь. Брюсов приглашает его преподавать – в *своей* институт. Государственная академия художественных наук (ГАХН) принимает его в «действительные члены» – за «Трактат о русском стихе» (после смерти Брюсова он возглавит там отделение изящной словесности). Три года спустя его избирают председателем Московского отделения Всероссийского союза поэтов.

Пишет, переводит, преподает, выступает с докладами...

И естественно, без сколь-нибудь заметных, во всяком случае, по его письмам или поздним воспоминаниям о нем, усилий обростаёт многочисленными литературными и околотрудовыми знакомствами. Отношения эти складываются легко, как бы сами собой, становятся дружескими или деловыми, разница определена и, в общем, несущественна.

За чуть ли не единственным исключением – Маяковским.

Как не заладились они с первой, далекой уже встречи, так и не сглаживаются, что ни встреча случайная – обостряются. Пути, и прежде не близкие, расходятся все более отчетливо.

Маяковский шаг за шагом становится «Командором» для многих молодых поэтов (как назовет его много позже один из них, остро переживший то влияние-увлечение). Опьяняется сближением своей поэзии с новой властью: «Моя революция!» – и опьяняет *ведомых*, младших, кого сильней, кого послабее.

Шенгели, с не меньшей страстью некогда встретивший происходившие в России перемены, начинает *трезветь*, понимать, что в стремительно меняющейся политической – и, стало быть, идеологической – ситуации *место*, пространство для бытования его поэзии неукоснительно сокращается, подобно шагреновой коже.

В двадцать четвертом Маяковский пишет – и посвящает большевистской партии поэму о Ленине.

Летом того же года Шенгели в Коктебеле у Волошина читает написанные в двадцать первом «Стихи о Гумилеве». Об этом есть в волошинских дневниках. Среди слушателей – недавно вернувшийся из германской эмиграции Андрей Белый, который нервно реагирует на строчки о том, что Гумилева убили «накокаиненные бляди», которым «светил узкий лоб Максима». Вспоминает: чей это «лоб» имеется в виду? И услышав от автора: «Горького!» – обращается к Волошину, истерически заявляет, что не может оставаться в доме, где *такое* говорится о русском писателе, и убегает в свою комнату.

Его, конечно, утешают, и он остается. И страх его понятен – ведь он приехал *мириться* с властью – и вдруг...

А Шенгели знает, о чем писал, он с такими, какие убили поэта, был знаком...

Стихи те разыскать не удалось. Упомянув их в «автобиблиографии», Шенгели сохранять их у себя не рискнул, понять его можно. Впрочем, про то, что известно об этих стихах, и про их поиски уже написано, здесь речь о другом.

Три года спустя в поэме «Хорошо!» Маяковский советует юношам «делать жизнь» с товарища Дзержинского...

В двадцать седьмом. Когда – годом раньше вылезшие *из-под санкций* Лиги Наций – большевики уверились, наконец, что пришли всерьез и надолго, и готовились с помпой отметить десятилетие своей власти. Литераторы, понятно, не остались в стороне от сей подготовки. И Шенгели в разноголосом их гаме выпустил тоненькую книжку. О Маяковском.

Из «Хронологической канвы» Шенгели: «1927... Профессура в Симферополе. Катастрофа. «Маяковский во весь рост».

Это книжка, в которой сквозь жесткий профессиональный *стиховедческий* разбор поэтики Маяковского постепенно проступает, все более явственной становится мысль о том, что если Маяковский – «поэт революции», то революция, свершившаяся в России, никакая не «пролетарская», а... люмпен-мещанская.

Я писал об этой книжке более обстоятельно, повторяться не стану (см. Георгий Шенгели. Иноходец. – М., 1997, с. 21-25; там же, кстати, и текст ее воспроизведен, впервые перепечатан – с. 385-440). Хочу лишь добавить кое-что, ибо и книжка эта, и отношение Шенгели к Маяковскому во многом определили, так сказать, *историко-литературную* судьбу Шенгели во второй половине его жизни.

Михаил Гаспаров писал, что я преувеличиваю значение – для Маяковского – этой книжки Шенгели. Что о Маяковском в ту пору весьма резко писали и другие. Действительно, писали. Однако, во-первых, никто из писавших даже и не подступал к вопросу о том, чьим рупором был Маяковский, чью революцию он воспевал. А во-вторых, именно эта книжка всего сильнее и явственней задела Маяковского, попала в него. Потому что поэтом о поэтике,



то бишь о сути писана. О том, что *получилось*, какими бы устремлениями-намерениями ни было вызвано.

И отозвалось все это в Маяковском – заглавием последней, за несколько месяцев до самоубийства сочиненной поэмы – «Во весь голос»...

И еще. Японист Кирилл Черевко, в юности своей общавшийся с Георгием Аркадьевичем, вспоминал-упомянул, что Шенгели впоследствии пересмотрел свое отношение к Маяковскому, даже сожалел, что *так* про него написал. И включил его в «чудесный фейерверк имен, четырнадцатизвездное созвездье» самых ярких поэтов начала прошлого века в стихотворении «Он знал их всех и видел всех почти...», одном из последних своих стихотворений.

Что до стихов, тут, по-моему, лишь стоит отдать должное *объективности* поэта, он ведь и не всех остальных, в «созвездьи» упомянутых, *любил*.

А возражать мемуаристу – занятие пустое. Хотя есть и другие свидетельства. Александр Лацис рассказывал мне, что в сорок шестом, то ли в сорок седьмом, спросил у своего литинститутского преподавателя Шенгели – как он теперь, двадцать дел спустя, относится к своей книжке о Маяковском. И услышал в ответ, что мнение о поэзии Маяковского, там изложенное, не переменялось, и что поэтическое «реформаторство» Маяковского изрядно преувеличено. Думаю, студент в те годы едва ли мог рассчитывать на бóльшую откровенность.

Да и в бумагах Шенгели есть несколько поздних записей, о «пересмотре» не свидетельствующих...

Вскоре после выхода книжки Шенгели уехал в Крым. Не из-за нее, хотя, думается мне, и этот *риск* учитывался. Чувство надвигающейся катастрофы, о которой упоминал не только в «Канве», но и в письме в Эстонию, к Северянину, вело его. И, как рассказывала мне Нина Леонтьевна Манухина, приехавший из Симферополя в Москву, в ГАХН, знакомец-ученый предложил ему профессорское место в тамошнем Крымском педагогическом институте, в который двумя годами ранее был преобразован Таврический университет.

Уезжал, представлялось ему, надолго, если не навсегда. В *свой* Крым.

По пути заехал к Волошину. Там – на террасе – по вечерам обычно читали стихи. И он прочитал – не свое, а цветаевского «Крысолова». Насколько мне известно, то было единственное в советское время более или менее публичное чтение этой поэмы. Опять же, не без риска. Достаточно упомянуть, что в начале тридцатых Георгий Оболдуев за чтение стихов «эмигрантки» – тоже в кругу любителей поэзии, правда, московских, среди коих нашелся «доброжелатель НКВД-ГПУ», – получил три года ссылки плюс еще пять «далеко от Москвы».

Но у Шенгели, по счастью, обошлось.

Так он уехал в *изгнание*. Этим именем озаглавил одно из первых написанных здесь стихотворений. Впрочем, оно, *изгнание*, по началу оказалось именно таким, какого он ждал и хотел.

Здесь медлит осень. Здесь еще тепло.  
И странно видеть зимние созвездья  
Сквозь музыку с далекого бульвара,  
Сквозь теплый вкус и нежность изабеллы...  
К полуночи в ореховом саду  
Прощаюсь я с моей дневной работой...

А *работы* задумано было много. «Дневная» – институтская: лекции, семинары, всякие заседания – не помеха «вечерней», той, которая совсем *своя*. И первая из них – «Черный погон». Прощание с иллюзиями тринадцати-, десяти-, пятилетней давности. И начало *воспоминаний* – потом в стихах и прозе (увы, до завершения доведенной лишь единично) они будут продолжаться – до последних написанных строк...

«Мне хочется припомнить шаг за шагом мой роман с жизнью, мой роман с революцией, первую и последнюю мою попытку глотнуть настоящего кислорода»...

И припоминает, «шаг за шагом», но именно как *роман с жизнью*, роман жизни, беллетризуя его, естественно вплетая реальные события в острофабульное повествование.

Беллетризованные воспоминания – редкий и сложнейший жанр в мемуарной литературе (сходу припоминаются разве что

«Петербургские зимы» Георгия Иванова да катаевский «Алмазный мой венец», поискать – еще кое-что найдется, однако не много). В отличие от мемуаров «дневниковых», даже ежели автор дневников и не вел, претендующих, так сказать, на фактическую-историческую достоверность, здесь – *художество*, у которого совсем иная задача, у которого «миф всегда прав». Шенгели и в стихах-воспоминаниях бывал «неточен». Хотя с эрудицией своей, превосходной памятью и ворохом записных книжек, разумеется, знал, например, что в «декабре 16-го года» Ахматовой не было «в Тенишевском зале» и что его описание относится к весне семнадцатого, или что Воронцовский дворец в Одессе не мог *видеть* Пушкина и проч. Но подобные пояснения к «ошибкам памяти» (которых, вполне вероятно, и не было) надобны-уместны в примечаниях, чтобы, говоря условно, читатель не изучал Евангелия «по Булгакову». И только...

Да и вообще, беллетризация пережитого в подобных случаях не происходит ли из того, что *иллюзии* поэта – любые, в том числе политические, есть род *художества*?

Убедиться, что многое в «Черном погоне» передано очень *точно* – интонационно и фактически, – нетрудно. Достаточно хотя бы перелистать керченскую историю Гражданской войны или прочитать воспоминания одесситов о Шенгели в Одессе – в двадцатом. Однако, по-моему, куда более интересно – и важно, – что по мере чтения как бы сама собой постепенно проступает, очерчивается мысль о том, почему большевикам удалось в итоге одержать победу в той войне. Победу в той, казалось бы, изначально неравной схватке разнородной стихии с профессиональной, обученной, имеющей бесценный опыт войны мировой и первоклассных генералов, командующих Белой армией.

Тут не одна причина, но как минимум три – и они явлены в повествовании.

Во-первых, победили не большевики – они потом, задним числом, приписали себе всю заслугу. Против белых объединились *все*, верней сказать, начавшийся исторически неизбежный распад империи объединил *всех* – большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов etc, – против той силы, какая пыталась империю

сохранить. И едва ли кто мог тогда предположить, что после победы, совсем скоро, большевики с громогласным популизмом, с апелляцией к массовому люмпену расправятся поочередно со всеми недавними своими союзниками.

Во-вторых, стоит обратить внимание на краткий эпизод – помедлить на нем: проверка документов у трех тысяч (!) пассажиров парохода, прибывшего в «белую» Одессу. «Проверки документов на самом деле нет: офицер кидает быстрый взгляд на развернутую перед ним бумажку и поворачивается к следующему»... Демонстративно мимолетно выказываемое презрение «белой кости» к этой толпе, к этому быдлу, среди коего, разумеется, быть не может сколь-нибудь достойных противников-врагов. И потому запросто можно таким образом заслать сюда сколько угодно тех, кто будут громить банки, как легендарные Котовский и Железняк, или ударят в спину белым при подходе к Одессе Красной армии.

И в-третьих, красные победили не потому, что были лучше, но потому, что белые были еще хуже. «Керченские» страницы «Погона» (да и «одесские» отчасти) – об этом, о распаде в Добровольческой армии и вокруг нее царящем, о сугробах кокаина и разливанных озерах спиртного...

Понимал ли он, что у этой вещи нету ни единого шанса быть опубликованной? А то... Но он и прежде, уже несколько лет был готов к тому, что многое – написанное и еще не написанное – к читателю печатной продукции не попадет. Однако, думаю, именно Крым, заверченный здесь «Черный погон» вернул ему силы, на упадок коих он сетовал в письме к Северянину перед отъездом из Москвы.

Он много, неустанно работает. Задумывает и начинает книгу «Пушкин в Крыму». Перечитывает исторические сочинения, делает массу выписок, размышляет о будущей книге «Русская Помпея» – об истории родной Керчи, о своем Босфоре Киммерийском. Составляет планы будущей большой мемуарной книги и делает наброски к ней. Пишет стихи...

Он рассчитывает на годы и годы вперед, еще не зная, что этих крымских лет у него не будет, что... Маяковский и в этом ему по-

мешает. Студенты сочиняют и подают институтскому начальству донос на своего преподавателя, который во время лекций о современной литературе резко и, мягко говоря, неуважительно отзывался о «поэте революции».

Начальство вызвало Шенгели и потребовало изменить такое поведение. Он тут же подал в отставку.

И вскоре вернулся в Москву. Откуда несколько месяцев спустя, предупрежденный *осведомленным* приятелем о готовящемся разгроме ГАХН, отправился в далекий Самарканд. Преподавать. Переждать...

Год спустя, осенью тридцать первого, он снова в Москве. Где его никто не ждет. Два года служит – кое-как зарабатывает на жизнь в газете и заштатном журнальчике. Пока, наконец, не получает приглашение в издательство «Художественная литература» – заниматься редактированием переводной поэзии. С этой поры переводы, и прежде в изрядном количестве строк выходявшие из-под его руки, становятся его *основным* делом. Но про это, как и про то, как, обустроив эту *нишу*, Шенгели удалось помочь выжить и зарабатывать на сносную жизнь ушедшим от *непечатанья* в переводы поэтам, написано уже немало.

В тридцать пятом ему все-таки удалось – в *своем* издательстве – выпустить книжку стихотворений и поэм «Планер». Однако вышла она почти одновременно с печально знаменитым письмом-доносом Л.Ю. Брик к Сталину – о литературных врагах Маяковского, препятствующих его посмертным изданиям. Письмом, на полях коего вождь начертал непререкаемую оценку «лучшего и талантливейшего». И Шенгели печатать перестали (тоненькая книжка «избранного», куда вошло лишь одно неопубликованное стихотворение, изданная в тридцать девятом, можно сказать, *не в счет*). Только переводы – десятки тысяч строк.

И при всякой возможности вырывался в Крым. Водил-возил по нему, влюбил в него свою *Нинку*. И писал стихи.

Ай, хорошо! Я на три километра  
Заплыл. Лежу, качаясь, на спине.  
По животу скользит прохлада ветра,  
Плечам тепло в полуденной волне.

Двумерен мир. Обрыв Камыш-Буруна  
Сам по себе синее вдалеке,  
И у ресниц вплотную тает шхуна,  
Как леденец в алмазном кипятке.

И всерьез подумывал когда-нибудь вернуться, перебраться  
сюда насовсем.

Где-нибудь – белый на белой скале –  
Крохотный домик в Еникале...  
Город в две улицы узким балконом  
Выпятился над проливом зеленым;  
Степь с трех сторон, а с четвертой – простор:  
Ветер и зыбь, Киммерийский Босфор.

Прожить старость там, где впервые был счастлив.

...Наглухо на ночь закладывать ставни,  
Слушать норд-оста мотив стародавний,  
Старые книги неспешно листать  
И о Несбывшемся вновь поминать:  
Очень подходит к томительной теме  
Медленное – по-еникальски – время...

Однако этого «медленного времени» ему не было дано.  
До «оттепели» Шенгели не дожил – умер в пятьдесят шестом,  
в год «развенчания Сталина» Двадцатым съездом.

Первый однотомник Шенгели вышел сорок один год спустя.

На двадцать лет позже первой посмертной книги стихов Во-  
лошина, изданной к столетию со дня его рождения...

Декабрь 2017 – март 2018 г.

С.А. Векшинский

## «Нам должно клад изобрести...»

Жаркий июльский день 1910 года. Тамань. На берегу Керченского пролива маленький уютный дачный домик. Это – одна из керченских семей, в летней обители которой собралось десятка полтора юношей и девушек в возрасте от тринадцати до семнадцати лет. Это всё товарищи и подруги детей хозяев дома.

Я туда попал случайно и был рад познакомиться с большой группой молодежи. Среди мальчиков выделялся чернобровый красивый юноша, стриженный наголо, с повязанной, как тюрбаном, белым платком головой, смеющийся, веселый и страшно предприимчивый. Все его звали Ёршик. Он был такой обаятельный, что я сразу привязался к нему и также стал звать его Ершиком. В нем была какая-то удивительная предприимчивость, какое-то поразительное умение во всем найти интересность, увлечь остальных. Что бы он ни затевал, оно становилось общим интересом. Он все время был в действии, в движении: то предлагал начать раскопки какого-то найденного им кургана – мы все устремлялись за ним и, конечно, ничего в кургане этом не находили, но не сожалели о том, что целый день копались в глине и песке, разыскивая какие-то древние сокровища. Недостача сокровищ целиком окупалась увлекательными рассказами Георгия об истории древней Патетики, знание которой у него было изумительным. А вечерами, когда мерцают звезды и теплая ночь окутывает землю, Георгий вдруг затевает астрономическую беседу, показывает нам и называет все созвездия, растолковывает, почему планеты имеют возвратные движения на небесном своде, увлекает всех своим пониманием космоса. Это был фонтан всяких сведений!

Когда же речь заходила о Керчи (мы все в это жаркое время из нее переехали в Тамань), то оказывалось, что Георгий знает досконально не только Керчь и ее историю, но знает и всю карту Крыма, вернее – все карты, с древнейших времен, знает все колонии скифские, генуэзские, греческие, римские, знает историографии всех правителей древнего Крыма...

Он называл имена вождей и царей и рассказывал об их временах столь ярко, динамично, артистично, что оторваться от его рассказов было невозможно...

Это было, повторю, в июле 1910 года. Немного раньше Георгий должен был перейти из шестого в седьмой класс Керченской гимназии, но...

Ссора с одним из преподавателей привела к тому, что тот назначил Шенгели переэкзаменовку. Поссорился он и с инспектором, который попытался его «перевоспитать», и, по настоянию этого инспектора, его оставили на второй год. Такого Георгий не стерпел – и уехал в Сибирь, в Омск, откуда за восемь лет до того, после внезапной смерти отца, был перевезен в Керчь, к бабушке, и где оставались помнившие его добрые знакомые отца.

Надо сказать, что материальные ресурсы его были крайне ограничены. Он зарабатывал уроками. Да у бабушки было несколько сот рублей, оставшихся от отца, и небольшая пенсия, причитающаяся круглому сироте. Однако Георгий твердо верил, что сам пробьет себе дорогу. Ни сиротство, ни бедность не пугали и не угнетали его.

Не знаю наверное, но, вероятно, хлопотами бабушки, происшедшей из почтенной и потомственной *керченской* семьи, осенью, когда Георгий вернулся, он был допущен-таки к переэкзаменровке – и блестяще выдержал экзамен.

Вспоминая его школьные годы, могу сказать, что он весь класс держал в постоянном любовно-прикованном к нему внимании. Не было случая, чтобы он плохо или стандартно написал классное сочинение: все то, что он писал, было несколько вызывающе, явно выходило за рамки казенной педагогики, но всегда умно, строго логично...

У него было два... почерка. Да-да, именно два: кроме обычного – «школьного», который мог бы чистотой и внятностью соперничать с гимназическими прописями, он в совершенстве владел и микропочерком, столь мелким, что невооруженным глазом прочитать написанное им было невозможно, разве что с помощью лупы, причем не менее чем пятикратной.

Однажды он подал классное сочинение на маленьком, в осьмушку, листке бумаги. Учитель взорвался, сказал, что это хули-



ганство, что он доведет этот случай до сведения начальства. Но, видимо, любопытство к необычному ученику, а необычайность, оригинальность Шенгели лучшие из наших учителей и замечали, и понимали, и, как сейчас мне представляется, ценили, но внешне соблюдали установленные «педагогические рамки», любопытство, повторю, пересилило, и... на следующем уроке учитель прочитал это сочинение вслух всему классу – и Шенгели получил за него пять с плюсом! Сочинение и правда было очень интересным и содержательным, а по объему нимало не уступало нашим «нормальным» классным писаниям.

В седьмом классе Георгий из-за чего-то, не помню уже причины, поссорился с бабушкой и переселился от нее в семью моего отца. В те месяцы я соприкасался, общался с ним ежедневно – и могу рассказать теперь о том, как он жил и работал в юношескую пору.

Нередко случалось, что Георгий в гимназию не являлся.

Его тогда можно было встретить либо в городской библиотеке, он забирался туда с утра и, получив целую кипу книг, работал, не разгибаясь. Потому что, например, решил детальнейше изучить историю царя Тридимита. Либо занимался вычислением пути Меркурия в его сближении с Землей, и для этого Георгию нужна была восьмизначная таблица логарифмов, библиотечный экземпляр которой был единственным в городе. Решением этой задачи из области небесной механики он занимался довольно долго – и пропущенных в гимназии уроков накопилось изрядно. Но когда классный наставник делал ему по сему поводу внушение, Георгий твердо, а то и возмущенно, отстаивал свое право изучать все так глубоко, как он сам считает необходимым.

Он постоянно трудился, у него не было «пустых дней». И уже тогда его эрудиция нередко ставила в неловкое положение преподавателей, которые пытались учить его тому, что он знал гораздо лучше них.

Именно в седьмом классе из всех его разнообразных интересов начала выделяться тяга к литературе, к поэзии. Я помню его первые стихотворческие опыты, помню, как он читал их вслух и сетовал, нет, верней сказать, негодовал, что его стихи «не звучат», сравнивал их – не больше и не меньше – со стихами Пушкина, говорил, что стихи у него получаются «дубовые» и что нужно

серьезно разобраться в причинах, изучить законы, *управляющие хорошим стихом.*

«Я должен разобраться!» – решил он. И неутомимо трудился неделя за неделей, месяц за месяцем, изучая фонетику, ритмику, метрику стиха. И в это же время углубленно занимался французским языком, немецким, греческим, латынью и – к вящей для меня неожиданности – арабским. И пояснял, что делает все это только для того, чтобы знать – как строится стих...

Уже тогда, думаю, внимательный – взрослый – взгляд мог бы распознать в Шенгели формирующегося поэта и ученого.

Я помню выпускной вечер нашей гимназии, на котором Георгий Шенгели всех поразили большой и, по-моему, замечательной одой, в которой была обрисована жизнь Керчи и нашего молодого поколения. По общему впечатлению, то был шедевр, вполне достойный места в печати. Однако напечатана она не была, я, к сожалению не помню ее, только впечатление, и вряд ли она сохранилась.

А несколько лет спустя я прочитал его стихотворение «Державин» – и внезапно понял, что именно этот лицейский эпизод пушкинской биографии, скорей всего, и подвигнул Шенгели на сочинение *выпускной* оды...

С юношеских лет трудоспособность его была колоссальна. Всякую работу, за которую брался, он считал необходимым выполнить добротнo, мастерски, с полным знанием дела. А жажде работать у него была неистощима.

В стихотворении, которое он написал в 1949 году, «В день 35-летия окончания нами гимназии», есть такие строки:

Мы всё любили, знали много,  
И жажда делать в нас жила,  
И в гору трудная дорога  
Такой желанною была...

Эта «жажда делать» прочертилась через всю его жизнь.  
И еще из этого же стихотворения:

Не нам стоять! Нам делать надо  
За всех, кто изнемог в пути!

И если нет на свете клада,  
Нам должно клад изобрести...

Это написано почти через четыре десятилетия после тех июльских раскопок безвестного таманского кургана – и отзывается во мне эхом того жаркого дня, дня знакомства моего с Георгием Шенгели, дня начала нашей с ним долгой дружбы. Потому и захотелось мне вспомнить о нескольких юношеских годах поэта...

1958

\*

Векшинский Сергей Аркадьевич (1896-1974) – один из крупнейших «секретных» советских ученых в области электровакуумной техники и радиоэлектроники, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат трех Сталинских и Ленинской премии.

Воспоминания, прочитанные на вечере памяти Шенгели в 1958 г., публикуются впервые.

*...он в совершенстве владел и микропочерком...* – в упомянутом «совершенстве» автору этих строк довелось безоговорочно убедиться, работая с архивом Шенгели (не без лупы, о, нет!): при увеличении буквы, сливающиеся поначалу в четкую прямую линию, оказываются каллиграфически четкими; и это тем любопытней, что Шенгели с юных лет... носил пенсне (в оном и запечатлен на самой ранней из дошедших до нас гимназических фотографий, отчасти, надо полагать, для вящей солидности, но только отчасти: на абсолютном большинстве фотографий он либо в пенсне, либо – в последние пятнадцать лет жизни – в очках.

*«Я должен разобраться!» – решил он...* – много лет спустя Шенгели описал, как он *разбирался*: «Начав лет в 17 писать стихи, я руководствовался теми тремя страничками из курса «Теория словесности», полученными в пятом классе, в которых говорилось о стихотворных размерах, о ямбе и хорее, но ни звука не было сказано о пиррихии. И мои первые ямбы и хорей были барабанным боем полноударных строк, слагавшихся трудно и звучащих плохо. Желая понять, почему мои правильные стихи тяжелы и неповоротливы, я стал всматриваться в стих Пушкина, Лермонтова и Некрасова и с удивлением обнаружил, что там никаких «ямбов и хореев» нет. Я «открыл» явление пиррихия, что мгновенно развязало мне руки, я занялся систематизацией пиррихических ходов, поисками стиховедческой литературы и пр.; с этого момента начинается и моя карьера как стиховеда».

«В день 35-летия окончания нами гимназии»... – автор, вероятно, из скромности сократил заглавие этого (неопубликованного) стихотворения; полностью оно таково: «Сергею Векшинскому в день 35-летия окончания нами гимназии». К нему же обращено написанное двумя годами ранее стихотворение, где поводом послужила *секретная* работа ученого, не бывшая, впрочем, *секретом* для его ближайшего многолетнего друга. С удовольствием публикую здесь эти стихи.

## Сергею Векшинскому

Два старых мальчика, два седых гимназиста,  
Как бывало, вдвоем сидели и курили,  
И обычный дымок скользил и плыл слоисто  
В комнате, полной книг и нежной книжной пыли.

Плыл голубой дымок и клубился неверно,  
В чашках чай остывал, но теплела беседа;  
Два мальчика седых, два питомца Жюль-Верна,  
Отыскивали путь среди мирового бреда.

Бремя тайны принес академик поэту:  
В ладони он держал смерть и жизнь миллионов, –  
И Верховным Судом, оправдавшим планету,  
Два стали мальчика, душу друг другу тронув.

Огни за окнами горели, гул трамвая  
Врывался в комнату, заглушая слово;  
Был мир за окнами, и жил этот мир, не зная,  
Что судьба его здесь – среди дымка голубого.

1947

